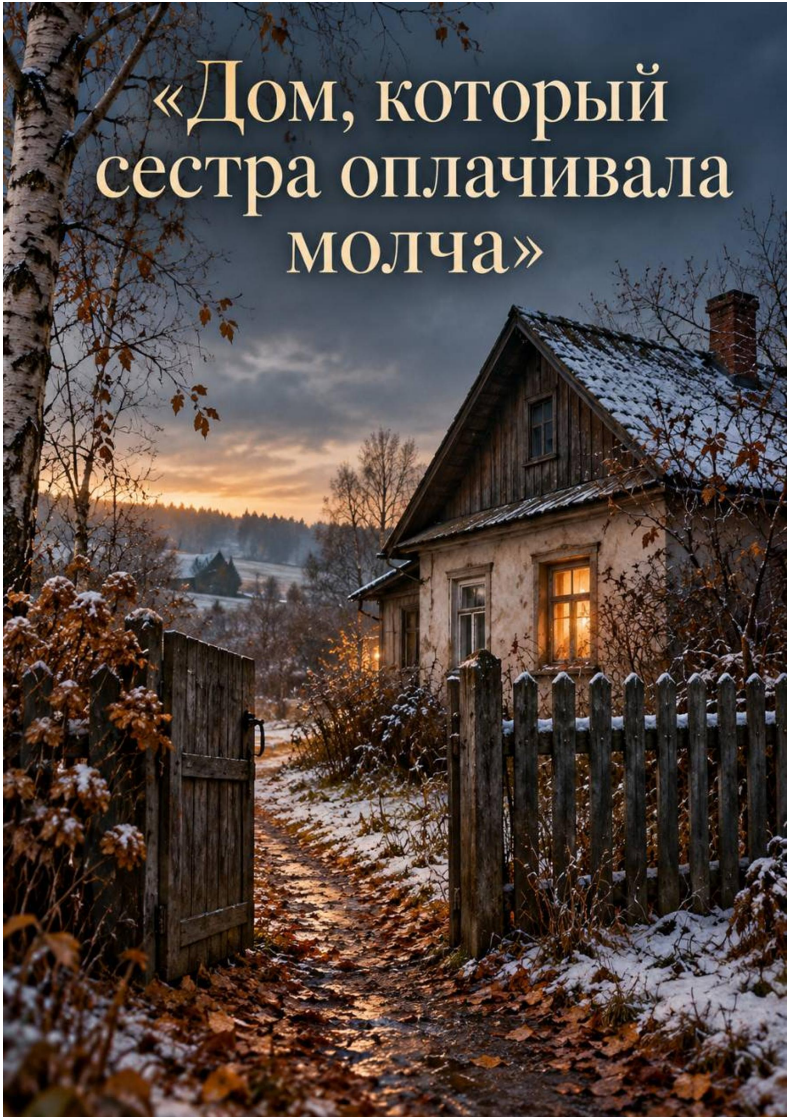

«Дом, который
сестра оплачивала
молча»

Рен Вольский

Дом, который сестра оплачивала молча

https://litres.ru/74698768
SelfPub; 2026

Аннотация

Камерная семейная драма от начала осени, через месяц после похорон Нины Павловны, до весны. В первой части Виктор предлагает Лидии обмен квартиры на дом, а найденные квитанции разрушают его представление о собственном единоличном вкладе. Во второй части два письма матери последовательно раскрывают скрытую финансовую помощь, продажу дачи и связь квартиры с Ниной. В третьей части брат и сестра проверяют новую договорённость зимовкой Виктора, открытым учётом расходов и отказом считать дом наградой одному из детей. Финал даёт эмоциональное сближение без окончательного ответа на вопрос о собственности: дети готовы решать судьбу дома вместе, а не присваивать память матери через подсчёт заслуг.

Содержание

Ключи на бабушкином сервизе 4
Пять лет под скатертью 12
У каждого своя помощь 21
Письмо на двоих 30
Конец ознакомительного фрагмента. 37

Рен Вольский
Дом, который сестра оплачивала молча

Ключи на бабушкином сервизе

Через месяц после похорон матери автобус высадил её у рынка, и до Садовой пришлось идти пешком — восемьсот метров, которые осенью растягивались вдвое. Гравий у обочины ехал под подошвами, левый каблук уводило внутрь, к луже с нефтяной плёнкой. Сумка оттягивала плечо: папка, зарядка, упаковка влажных салфеток, две пачки с бумагами из дома, нераспечатанными с самых похорон.

Калитка просела с августа. Нижний угол чертил по земле дугу, и в дуге стояла вода. Яблони за забором держали на себе мокрые листья, бурые, тяжёлые; одно яблоко сорвалось, пока Лидия возилась со щеколдой, и шлёпнулось в траву с мягким, сытым звуком.

Дым из трубы шёл низко, прижимался к шиферу и уползал к кладбищенской дороге. Значит, Виктор топил с утра.

Крыльцо приняло её ногу с привычным прогибом второй ступени. В сенях стоял запах сырого дерева, керосина, холодной картошки. Куртка матери висела на крайнем крючке,

рукав вывернут наизнанку — так его оставляют, когда снимают торопясь, не собираясь умирать через четыре дня.

— Ты рано, — сказал Виктор из кухни. — Я думал, на дневном.

— Поменяли расписание.

Сажа въелась ему в костяшки по самые сгибы. Он вытер руки о колено, и на спортивных штанах осталось два серых полумесяца. На вытертой клеёнке дожидался бабушкин сервиз — три чашки из шести, остальные в шкафу — и сахарница без крышки.

Чайник пошёл шумом, сначала низким, потом свистящим на одной ноте, и свист давил на правое ухо, на самую косточку за ним.

Стул под ней скрипнул — тот самый, который скрипел всегда. Клеёнка под локтем держала след от утюга, коричневый, с рваным краем, шестилетней давности.

Виктор поставил перед ней чашку без вопроса.

— Крышу я в июне перекрыл в двух местах. Над спальней и над сенями. Там шифер уже труху даёт, его трогать нельзя, он сыплется. Дрова на зиму есть, шесть кубов, в сарае лежат. Воду я с осени спускаю, иначе разорвёт.

Чай был густой, переваренный, с крупинками на дне.

У окна звякнула латунь. Связка ключей легла на стол и пошла по клеёнке — медленно, под двумя пальцами, пока не стукнула о блюдце сервиза. Звук получился высокий, посудный. Такой звук водился тут только по большим празд-

никам, когда мать доставáла эти чашки и сама их мыла, не пуская никого к раковине.

— Забирай квартиру, Лида. Она тебе нужнее.

На подоконнике стояла материна чашка с засохшим коричневым кольцом внутри. Лидия держала глазами это кольцо, его неровную верхнюю границу, маленький язычок, где чай когда-то перелился через край.

— А я останусь здесь. Буду за домом смотреть. — Виктор отвернулся к стеклу. — Там всё равно руки нужны постоянно. Ты из своего города будешь сантехников вызывать? За триста километров?

Квартира мамина двухкомнатная, второй этаж, панель. У квартиры в их городке была одна рыночная цена, у дома — другая, ниже. Разница выходила в пользу Лидии, если считать голыми цифрами, процентов на пятнадцать. Тридцать лет сверки оборотных ведомостей ставили эту арифметику в голове сами, без спроса, столбиком, с подведённой чертой.

— Жена согласна? — спросила она.

— Устала она от нашей двушки, где её мать в проходной. — Ноготь проскрёб по стеклу, снимая капли с внутренней стороны. — Тут она огород хочет. И до родителей пятнадцать минут ходьбы. Я по весне к ним каждое воскресенье, а из города автобус один раз, и тот в обед.

Клеёнка под её ладонью нагрелась. Рука ушла со стола, и мокрый контур начал ссыхаться с краёв.

Отказать значило сказать: твои шесть кубов и твой шифер

весят меньше, чем моя подпись. Значило стать той, кто приезжает на похороны и уезжает на следующий день, кто звонит по воскресеньям, кто в этом доме гость, кому стелят в зале и дают чистое полотенце.

— Хорошо, — сказала она. — Давай смотреть документы. Где мамина папка?

— В шкафу, вон там, у печной стены. Где всегда. — Ведро уже было у него в руке. — Я пойду в сарай, дров на вечер принесу. Там растопка кончилась.

Хлопнула дверь в сенях. По двору пошли его шаги — вразнобой, с проседанием на левую ногу, которую он ещё в девяносто восьмом подвернул на той же крыше.

От печной стены, где стоял шкаф, тянуло холодом — тот угол кухни не прогревался никогда. Шкаф открылся со стоном петли, и оттуда потянуло нафталином и гладкой пыльной тканью. На верхней полке — бельё, свёрнутое валиками. Под бельём — скатерть, крахмальная, с пожелтевшим сгибом, та, которую мать стелила на Новый год.

Угол скатерти поднялся у неё в пальцах.

Папка лежала под ней плашмя — картонная, с ботиночными тесёмками. Толщина сантиметра четыре. Тесёмки были завязаны на двойной бант, туго, двумя узлами, какими мать затягивала всё: посылки, пакеты с крупой, шнурки на детских ботинках.

Узлы не поддались сразу. Ноготь ушёл под тесьму, сорвался, задрал кожицу у края пальца. Жжение пошло тонкой ни-

тью до второй фаланги.

Внутри лежали квитанции. Не десяток — стопка, слежавшаяся, с загнутыми верхними краями, разложенная по годам резинками для денег. Резинки рассохлись; первая лопнула под пальцами и отлетела к стене.

Верхний лист — августовский, этого года. Газ. Отпечатанный чек с терминала, бледный, уже начавший выцветать по сгибу.

Плательщик — её имя, её отчество, её фамилия, отбитые терминалом полностью.

Под ним электричество. То же имя. Ниже вода, июль. То же. Апрель, март, февраль; квитанция за ремонт водопроводной линии от колодца до дома, сорок две тысячи восемьсот, рукописная калькуляция на обороте чужим крупным почерком; аптечные чеки, собранные по месяцам, с выделенными маркером строками — те, что дороже тысячи.

Колени нашли пол сами — крашеные кухонные доски, холод через чулок, сразу в кость. Папка легла на бёдра, картон прогнулся по старому сгибу.

Аптечные чеки были не сложены, а сшиты. Белой ниткой, крупным стежком через левый край, по восемь-девять листов в связке, и на каждой связке сверху месяц, выведенный простым карандашом: «ноябрь», «декабрь». Нитка в декабрьской другая, толще, с восковым блеском — та, которой подшивают валенки.

Листы разошлись веером под большим пальцем, движени-

ем со сверки оборотки. Суммы встали в столбец сами. Маркер лежал на строках ровно, одной линией, без заезда на соседнюю, — значит, подводили под линейку, значит, не торопясь, значит, вечером, при настольной лампе на шифоньере, где штепсель всегда вываливался и его подпирали спичечным коробком.

Карандаш на обороте декабрьской связки: 14 300. Ниже: 12 100. Ниже черта и остаток — то, что ушло на дрова.

Воздух у открытого шкафа стоял плотный, нежилой, с нафталином и сухой половой краской, и каждый вдох оставлял на задней стенке горла холодную плёнку. От колена вверх тянуло ломотой.

За стеной, во дворе, топор нашёл чурку. Пауза. Треск, короткий, сырой, — такой звук идёт у берёзы, которая колется легко. Потом звон ведра о бетонную отмостку. Расстояние до сарая — двадцать два шага. Обратно с вязанкой — тридцать, потому что он переставляет ногу боком.

У июньской квитанции нижний угол был оторван. Не отрезан — отщипнут ногтем, аккуратно, по сгибу, ровно по ту линию, где печатается номер телефона плательщика.

Пальцы стали мокрыми, и терминальный шрифт начал липнуть, сниматься на подушечку бледно-серым. Рука прошла по подолу, и на тёмной шерсти осталось длинное светлое пятно.

Мартовская лежала отдельно, перегнутая вдвое, с заломом в середине — её носили в кармане. Ткань кармана от-

печаталась на бумаге сеткой.

На полу, у плинтуса, высохшая муха лежала брюшком вверх, с подобранными лапками, и крылья у неё остались целыми, чистыми, слюдяными, летними.

Фонарь за окном мигнул и взял ровный свет. Жёлтая полоса легла через доски, через папку, через отлетевшую резинку, и в этой полосе встала пыль — вся, которая поднялась, пока открывался шкаф.

Из сеней донёсся скрежет: дверную ручку снизу заедает с прошлой зимы, её всегда приподнимают, чтобы повернуть.

Ещё одна связка выехала из-под резинки, и под ней открылся год, которого она не искала.

Пальцы шли по стопке, и годы отступали: девятнадцатый, восемнадцатый, семнадцатый. Пять слоёв. Около шестидесяти месяцев, в каждом — перевод до десятого числа, потому что после десятого шла пеня, а мать пеню не терпела.

«Лидочка, только Вите не говори. Он и так устаёт».

Этот голос остался в телефонной трубке, в её дешёвой подсаженной мембране, со свистящим «с», которое появилось у матери после протезирования. И каждый раз в ответ шло: конечно, мам. И перевод уходил. И не говорилось ничего.

Стопка в ладонях была том справочника по бухучёту. Пять лет держались на весу, и большой палец отекал под ними, и ноготь уходил в белое.

За окном от сарая двигалась вязанка, стянутая верёвоч-

ной петлёй. Кора на предплечьях, щепа в вырезе куртки, шаг с выбором места под ногу — двор раскис, и глина брала сапог за подошву.

Квитанции обратно не ложились. Верхний пласт выгибался, резинка не находилась, тесёмка ушла под полку. Руки делали быстро и поэтому делали плохо: аптечный чек выскользнул и ушёл под шкаф, в полосу пыли, и достать его можно было только лёжа.

На дне папки, под восемнадцатым годом, — край конверта. Белый, плотный. По лицевой стороне надпись материной рукой, той, что с нажимом на последней букве.

Шаги были уже в сенях. Ведро стукнуло о порог.

Папка прижалась к животу, под рёбра, и скатерть съехала с полки на плечо, закрыла бумаги белым крахмальным крылом.

— Нашла? — Виктор вошёл на кухню и остановился у стола, в двух шагах от неё. Вязанка висела в опущенной руке, с коры капало на половик. — Там зелёная такая, с тесёмками. Мать всё в неё пихала.

Взгляд его держался на скатерти, под которой не было видно ничего, кроме прижатых локтей.

— Нашла, — сказала Лидия.

Верхняя квитанция осталась снаружи, под её кистью, и держала на себе бледные буквы терминального шрифта: её имя. Ниже — август, июль и ещё пятьдесят восемь месяцев, в каждом из которых это имя стояло ровно на той же строке.

Пять лет под скатертью

Скатерть осталась на плече, крахмальный сгиб давил в ключицу. Папка под рёбрами нагрелась от живота и начала прилипать к блузке.

— Чего ты на полу-то? — Виктор уронил вязанку у печи. Поленья раскатились, одно ушло под стол, в темноту. — Колени же.

— Сейчас.

Половик у печи набрал с его сапог глину — две полосы, с рубчатым оттиском подошвы. Вода собиралась в них и темнела по кругу.

Дрова уходили в поддувальную нишу одно за другим, и в спине у брата работала одна лопатка, правая, а левая стояла.

Папка легла на столешницу, на утюжный след.

Три стопки получились сами, потому что тридцать лет оборотных ведомостей складывают бумагу по разделам раньше, чем успеваешь выбрать раздел. Коммунальные — налево, к сахарнице. Аптека, сшитая ниткой, — в середину. Водопровод, сорок две восемьсот и калькуляция чужим почерком, — направо, отдельным листом, потому что такая сумма в столбец к газу не встаёт.

В газовых квитанциях даты платежей шли по одной линии: третье, четвёртое, пятое. Ни одного числа после десятого.

«Лидочка, у них там до десятого, а потом пеня идёт, копейки, а всё равно обидно».

Голос приходил не целиком, а той частью, где свистело «с» о протез, и ещё той, где мать набирала воздух перед просьбой — коротким втягиванием, будто перед ступенькой.

Декабрьская связка аптечных чеков разошлась под пальцем. Четырнадцать триста. Под маркером стояло одно и то же название, повторенное через каждые двадцать дней, по две упаковки, и рядом, не выделенное, — дешёвое, за сто девяносто, которое мать брала сама, в своей аптеке на углу, на свою пенсию, чтобы в чеке было что показать сыну.

Эти чеки лежали в тех же связках. Нитка шла через них одним стежком.

— Ты вообще слышишь? — Виктор обернулся с печной заслонкой в руке. — Я говорю, воду сегодня спущу, ночью минус дадут.

— Спускай.

Заслонка вошла в паз с лязгом, и лязг прошёл по зубам, по нижней челюсти слева, где год стоял временный мост.

Кран над раковиной капал. Между каплями — около четырёх секунд. Сорок две восемьсот было отдано за линию от колодца до дома; воду в этой линии теперь спускали на зиму, потому что в доме никто не жил постоянно, и, значит, сорок две восемьсот стояли в земле и ждали, когда в доме станут жить.

Пять лет. Шестьдесят переводов за газ, шестьдесят за

свет, двадцать за воду — вода шла раз в квартал. Около тысячи девятисот каждый месяц по коммуналке, зимой до трёх с лишним. Аптека — от девяти до шестнадцати. Карандаш нашёлся в сахарнице, тупой, с обкусанным концом; цифры встали на обороте июньской квитанции, той, у которой угол отщипнут по номеру телефона.

Сумма вышла в районе восьмисот тысяч.

Числа на бумаге не поднимали ничего в груди. Они лежали ровным столбцом и подведённой чертой, и в этой черте не было ни одного приезда.

До нынешнего приезда их было шесть. Два Новых года, две операции — глаз, потом второй, — один август и похороны.

Шесть на шестьдесят месяцев.

Карандаш лёг. Ладонь накрыла столбец целиком, кроме последней строки, и последняя строка всё равно читалась краем глаза, с другой стороны ладони, перевёрнутая.

«Только Вите не говори».

И ни разу — почему. И ни разу не спрошено.

Потому что в трубке было хорошо. В трубке она была та, кому звонят первой. Можно было не брать отпуск, не искать билет на проходящий, не вставать в пять, чтобы сменить мать у койки, — можно было открыть приложение, набрать сумму, нажать подтверждение и услышать «спасибо, Лидочка, выручила», и это занимало минуту, и после этой минуты весь вечер держалась в солнечном сплетении тёплая, сытая

ровность.

Триста километров покупались за тысячу девятьсот в месяц.

Желудок сжался коротко и высоко, под самые рёбра, и во рту встал вкус переваренного чая.

— Это что? — Виктор уже стоял над столом. Сажа у него была не только в костяшках, но и в линии под ногтем большого пальца, толстой, чёрной. — Это ты разложила?

— Это мамина папка.

— Я вижу, что мамина. — Он наклонился над средней стопкой, не трогая. Дышал через нос, тяжело, после дров. — Тут аптека.

— Да.

— Ноябрь, декабрь. — Палец пошёл над связками, не опускаясь. — Это кто шил?

— Мама.

Выпрямился, вытер ладонь о штанину, хотя трогать так ничего и не успел.

Левая стопка лежала к нему ближе. Взял сверху не глядя — так берут из середины колоды — и поднёс к лампе над столом; бумага просветилась, и терминальный шрифт на обороте прочитался зеркально раньше, чем с лица.

Одна строчка держала тишину. Губы не двигались, двигалась жилка на шее, у самого воротника футболки.

— Плательщик, — сказал он.

Кран капнул.

— Плательщик — Лидия Сергеевна. — Тот же ровный голос, каким он говорил про шифер. — Август. Это газ за август.

— Да.

Квитанция вернулась на место. Не брошена — положена, и край подровнен о край стопки, двумя пальцами, аккуратно.

— А сентябрь? — Виктор сел на второй стул, тот, что не скрипел. — Сентябрь где?

— Сентябрь в приложении. Бумажку мне не присылают.

— В приложении.

Кивок. Потом ещё один, медленнее.

— Сколько? — спросил он.

— Что сколько?

— Лет сколько.

Губы разлепились не сразу. Нёбо пересохло так, что язык шёл по нему с задержкой.

— Пять, — сказала она.

Стул под ним пошёл назад на двух ножках и встал. Локти ушли в колени, взгляд — на раскатившиеся поленья, на то, которое уехало под стол.

— Я в июне шифер клал, — сказал он в пол. — Я по жаре на крыше. Я мать в район на УЗИ возил, два часа в очереди, я ей бутерброды резал, потому что ей натощак нельзя было долго. Я ей в аптеке... — Остановился. — Я ей в аптеке брал. Она мне список давала.

— Я знаю.

— Что ты знаешь? — Голова поднялась, и в белках стояла сетка, мелкая, от ветра и от дыма. — Список она мне давала на две позиции. На две, Лида. По триста рублей. Я думал, она экономит, я ей говорил: мать, бери нормальное, я дам. А она: сыночек, мне и это помогает.

Связки с нитками лежали между ними. Четырнадцать триста. Двенадцать сто.

— Пять лет, — сказал Виктор. — И ты сюда приезжала. Ты вот тут сидела, на этом стуле, в январе, и я тебе говорил, что котёл надо менять, а денег нет. Я тебе говорил. А ты молчала.

— Молчала.

— Ты сейчас это зачем выложила? — Подбородок качнулся на три стопки, на разделённые разделы, на подведённую черту на обороте июньской. — Ты уже и посчитала. Я сарай не успел закрыть, а у тебя уже итог. Сколько там?

— Виктор.

— Нет, скажи сколько. Чтобы я понимал, на какую часть дома я теперь могу рассчитывать.

Воздух вошёл неглубоко и остановился на середине.

Сказать можно было две вещи. Первая: восемьсот тысяч. Вторая: мать просила.

Обе были правдой, и обе становились торгом в ту секунду, когда их произносят за этим столом, где ключи ещё лежали у блюдца.

— Я не для этого считала, — сказала она.

— А для чего?

— Чтобы знать.

— Чтобы знать, — повторил он. — Ты тридцать лет в бухгалтерии. Ты знаешь, что бывает, когда одна сторона пять лет ведёт учёт, а вторая узнаёт про него за полчаса до раздела.

Кран капнул дважды, сбившись с четырёх секунд.

— Мама просила не говорить тебе, — сказала Лидия.

Прямой взгляд, без мигания, и рот открыт на полпальца.

— Мама просила, — сказал он.

— Да.

— Мама у нас второй месяц на Северном лежит. Под берёзой, которую я сажал.

— Я помню.

— И что она просила, теперь только ты знаешь.

Пальцы сами подтянули средние связки к себе, к животу, и остановились на полпути. Ладонь прикрыла нитяной стежок сверху, боком, как прикрывают чужой карман в вагоне.

Виктор увидел.

— Почему? — спросил он.

— Что почему?

— Почему она просила. — Виктор подался вперёд, и столешница скрипнула под его локтями. — Вот это скажи. Остальное я сам сложу, я не дурак. Почему мать пять лет брала у тебя деньги на свет, на воду, на лекарства по четырнадцать тысяч — и запретила говорить мне? Мне, который в двадцати минутах. Который каждое воскресенье.

Ответ стоял за языком целиком, вместе со словами «он и так устаёт», вместе с тем втягиванием воздуха перед ступенькой.

И за этим ответом стояло другое, уже про неё, а не про мать: молчание было удобно, оно стоило тысячу девятьсот в месяц и шесть приездов за пять лет, и в трубке у неё было место, которого в доме не было.

— Я не могу сейчас, — сказала она.

— Не можешь или не хочешь?

— Не могу.

Стул ушёл назад и стукнулся о печь, когда Виктор поднялся. Из поддувала посыпалась мелкая сажа на половик, на глиняные полосы.

У раковины кран завернулся рывком, до упора, и капанье оборвалось в середине капли. В этой тишине стало слышно, как на подоконнике, в материной чашке с засохшим кольцом, звенит стекло от проезжающего по Садовой грузовика.

Обратно к столу — и верхняя квитанция с левой стопки оказалась у него в руке. Та самая, августовская, за газ. Бумага выгнулась между большим и указательным, бледный терминальный шрифт лёг ему на подушечку пальца тем же серым, что час назад держался на её коже.

— Хорошо, — сказал Виктор. — Про мать потом. Сейчас другое.

Квитанция поднялась на уровень её лица.

— Это я вижу. Это ты мне уже не спрячешь. — Голос у

него не поднялся ни на полтона. — А теперь садись и перечисляй: что ещё? Не за газ. Вообще. Что ещё в этом доме есть такого, про что я не знаю?

Папка лежала открытой, и под восемнадцатым годом, у самого дна, белел плотный угол конверта.

У каждого своя помощь

Квитанция не вернулась на стопку. Она осталась у Виктора в руке; он сел с ней, не глядя на сестру, развернув бумагу к лампе — август, газ, восемьсот с чем-то рублей, и её имя тремя строчками сверху.

— Перечисляй, — сказал он ещё раз, тише.

Лидия не ответила. Ладонь лежала на средней стопке, на нитяном стежке, и сквозь подушечку пальца проходил узелок, завязанный матерью.

Августовская ушла в сторону. Следующая, потом третья. Четвёртая была за воду, с приписанным от руки показанием счётчика — цифры шли вкось, вверх, как всегда писала мать, когда писала стоя, на холодильнике.

— Январь, — сказал Виктор. — Девятнадцатого года.

Клеёнка под чашкой держала пятно. В январе девятнадцатого минус двадцать восемь градусов держался четыре ночи подряд, и в те четыре ночи он приезжал в одиннадцатом часу, после смены, потому что мать по телефону говорила «у меня в спальне холодно, но ты не езжай». Шланг от колонки тогда схватило в сенях, и тряпки с кипятком ложились на него по очереди, одна отжималась в ведро, пока вторая отдавала тепло железу. Руки потом не разгибались до утра, и на правой ладони сошла кожа полосой.

— Я эту зиму помню по пальцам, — сказал он. — Бук-

вально.

Ладонь легла на столешницу, развёрнутая вверх. Мозоль под средним пальцем, сажа в сгибах — больше ничего там не было, и рука ушла под стол.

— Я знаю, что ты приезжал, — сказала Лидия.

— Ты знаешь слово «приезжал». — Квитанции шли у него под пальцем одна за другой, ложились не по годам, а в одну кучу, сбивая её порядок. — А вот это что такое — ты не знаешь. Водосток. Я его в октябре чистил, каждый год, два раза. Лазил с крыльца по лестнице, доставал оттуда гниль руками, потому что палкой не выходит, палкой только проталкиваешь глубже. Лист с яблонь набивается в воронку и стоит пробкой, и если не вынуть, вода идёт по стене, а стена у печной. А над этой стеной шифер. Я на нём три листа менял, по одному в год, сидя верхом на коньке, и держался коленями, потому что держаться там больше нечем. Второй лист я поднимал в одиночку по лестнице, на плече, и у меня до июня под лопаткой не проходило. Ты была когда-нибудь у этой стены зимой? Там мокро. Там обои отходят.

— Я видела, что они отходят.

— Видела. — Голос не поднялся. — Я их три раза подклеивал.

Кран капнул. Между каплями стало шесть секунд: рывок закрутил вентиль почти до упора.

— Дрова, — продолжал Виктор. — Шесть кубов. Их привозят валом, сваливают за калиткой, потому что машина во

двор не заходит, калитка узкая. Шесть кубов надо перенести с улицы в сарай, и уложить, а не кинуть, иначе нижний слой тянет сырость. Это два дня. Два полных дня, Лида, с восьми до темноты, и на второй день уже не чувствуешь кисти. И так пять раз. Пять заездов за пять лет.

— Виктор.

— Аптека. — Слово вышло громко, одно, и следующие вернулись в прежний уровень. — Я стоял в этой аптеке. На Советской, у поликлиники, где одна касса и всегда бабки с рецептами. Я по сорок минут стоял, в рабочей одежде, после смены, потому что к семи она закрывается. Я ей брал по списку. Две позиции.

Нитяная связка лежала в середине стола. Сверху карандашом: «декабрь». Под карандашом — четырнадцать триста.

Взгляд задержался на связке, потом ушёл к окну, где было уже совсем черно и стояло только отражение лампы.

— Две позиции по триста рублей, — сказал он в стекло. — Я сорок минут стоял за шестьсот рублей. И нёс этот пакет в кармане куртки до самой её калитки, и от двери ещё звонил: мама, я взял, всё есть, ты не бегай.

Что-то в нём держалось на уровне кадыка и не шло ни вниз, ни наружу. Тыльная сторона руки прошлась по шее, крепко, до красного.

— А ты, значит, в приложении.

— Я в приложении.

— За минуту.

— За минуту.

Стул скрипнул под Лидией — тот самый. Она не села ровнее, наоборот, собрала плечи.

— И ты теперь это кладёшь мне на стол, — сказал Виктор, — вот этой кучей, и получается, что всё, что я тут пять лет делал руками, — это так, покраска. Это видно соседям. Клавдия Петровна через забор смотрит: ах, Витя мать не бросает. А платила-то Лидочка.

— Я ничего тебе не кладу. Я искала документы на дом, ты сам меня послал к шкафу.

— Ты их разложила по разделам.

— Я тридцать лет это делаю, я иначе не умею.

— Ты и итог подвела.

— Да. — Голос у неё стал ровнее, чем нужно. — Подвела. Потому что я хотела посмотреть, сколько там. И посмотрела. И мне стало не легче, Витя, мне стало хуже, если тебе от этого что-нибудь.

Он молчал.

— Теперь ты спроси, — сказала Лидия. — Не меня. Её спроси. Почему она тебе давала список на две позиции по триста, когда у неё лежал мой перевод на четырнадцать? Почему она тебе про котёл говорила, что денег нет, при мне, вот за этим столом, и я молчала, а она на меня не смотрела? Она ведь не смотрела. Она сахарницу переставляла.

Сахарница стояла без крышки у левой стопки, и в ней серело от влаги по краю. Взгляд зацепился и ушёл.

— Она просила тебя молчать.

— Просила.

— Зачем?

— Не знаю. — Пауза вышла длинной, и Лидия её не стала заполнять. — Я не спрашивала. Мне было удобно не спрашивать.

Два шага до печи, и пальцы нашли заслонку — закрыта, холодная, с наплывом копоти по нижней кромке. Утренняя глина с сапог подсохла на половике и крошилась под подошвами в рубчатую пыль.

— Воду пойду спущу.

— Витя.

— Что.

— Сядь.

Спина осталась к ней, плечо упёрлось в тёплый ещё с ночи кирпич.

— Ты сейчас думаешь, что я куплю у тебя дом этими бумажками, — сказала Лидия. — Не куплю. Я не могу тут жить. У меня там работа до июня и внучка в садик через нашу дорогу. Мне этот дом не нужен как дом.

— А как что?

Ответ пришёл к ней не словами, а чашкой на подоконнике с коричневым кольцом внутри, и запахом холодной картошки, который в этой кухне держался круглый год, и крахмальной скатертью, которую мать стелила один раз в год и к вечеру убирала.

— Как то, что ещё есть, — сказала она.

Печная дверца лязгнула — не от удара, просто отпустил.

— У меня тоже нет никакого «как». — Голос шёл в кирпич и возвращался глухим. — У меня двушка, где тёща в проходной, и тёща переживёт нас всех. У меня кладбище в пятнадцати минутах отсюда, и там берёза, которую я копал в мае, по глине, и она прижилась. Мне больше ничего не положено, Лида. Мне только это.

Лидия встала и собрала сбитые квитанции обратно — не по годам уже, просто в ровную плотность, подровняв торец о столешницу. Под рукой осталась мартовская, перегнутая, с серым отпечатком кармана, и аптечная связка на восковой нитке.

— Мы с тобой сейчас не про дом, — сказала она. — Мы про то, кто из нас был у неё настоящий.

Поворот от печи вышел медленным.

Слово стояло между ними открытым, и ни один его не снял.

— Я был каждое воскресенье.

— Я была первой, кому она звонила.

— Она мне звонила.

— Когда что-то сломалось.

Вот это вошло. Жилка у воротника дёрнулась — та же, что час назад, над второй сверху пуговицей. Голова опустилась, и глаза считали рубцы половика, полосу за полосой.

— Я не хотела так, — сказала она.

— Хотела.

— Да. Хотела.

Папка лежала раскрытой, пустеющая, с просевшими картонными боками, и по сгибу у неё светилась белая обтрёпанная жила. Лидия подняла её, чтобы уложить стопки внутрь, картон разошёлся по старому залому, и из нижнего отделения, из-под восемнадцатого года, выехал конверт.

Белый. Плотный, из тех, что продают по одному в отделении связи. Не заклеен — клапан заложен внутрь. На лицевой стороне материнской рукой, с нажимом на последней букве, тем же карандашом, которым подписаны аптечные связки:

«Открыть, когда дети начнут делить дом».

Половик сдвинулся под шагом, и конверт лёг на клеёнку между ними, надписью вверх, рядом с ключами и блюдцем от сервиза.

Прочитал. Потом ещё раз, сверху вниз, беззвучно двигая губами на слове «делить».

— Когда она это написала? — спросил он.

— Карандаш тот же. Которым «декабрь».

— То есть она это писала и тут же шила мне чеки на триста рублей.

— Да.

Рука у него пошла к конверту и остановилась над ним. Ногти были в саже, и он их убрал в кулак, и потянулся другой рукой, левой, чище.

— Открываем, — сказал он.

— Нет.

— Лида.

— Нет. — Ладонь легла на конверт, и под ладонью оказалось что-то жёсткое по диагонали, сложенное в два или три слоя. — Ты понимаешь, что там написано?

— Нет. Поэтому и открываем.

— Там написано, кто из нас прав. — Ладонь не поднялась. — Она пять лет держала нас обоих на половине правды, каждого на своей, и теперь она скажет. И тот, кому она скажет «спасибо, сынок», будет жить дальше, а второй будет жить с тем, что его мать всю жизнь держала за кошелёк или за дурака. И это нельзя будет закрыть обратно, Витя. Это уже не квитанция, её не сошьёшь.

— Она не для этого писала.

— Ты не знаешь, для чего она писала. Ты сегодня узнал, что ты про эту кухню не знаешь ничего.

Протянутая левая осталась в воздухе, и в кисти пошла дрожь — от дров, от двух ходок, от трёх минут сжатого кулака.

— Я её всю жизнь знал, — сказал он. — Каждое воскресенье.

— И я её знала. По телефону. По воскресеньям она тебе давала список на две позиции.

За окном от ветра стукнула калитка — та, просевшая, нижним углом по земле, по дуге с водой. Удар дошёл через половицы в пятку и выше, в стиснутую челюсть, и зубы со-

шлись сами.

— Ночью минус дадут, — сказал Виктор. — Мне воду спускать.

— Спускай.

— А конверт?

Ладонь её с конверта всё-таки сошла, но сам конверт она подвинула к себе, под сервизное блюдце, прижав угол его тяжестью.

— Утром, — сказала Лидия. — При свете. Вместе. И до того, как мы с тобой скажем ещё хоть слово про доли.

Ведро стояло у печи, и он взял его за дугу. В сенях заедала ручка, её надо было приподнять; приподнял, и дверь пошла. Половик за спиной остался сбитым на угол, с чёрными полумесяцами от его сапог.

На столе — ключи, блюдце и под блюдцем белый угол с материнским нажимом на последней букве. Кран над раковиной капнул — и больше не капнул: воду в доме уже начали спускать.

Письмо на двоих

Наледь на стекле сошла к восьми. За окном осталась серая морось и мокрый лист, прилипший к раме снаружи.

Лидия вынула конверт из-под блюдца. Угол бумаги остался примятым там, где его всю ночь держал сервизный фарфор.

У печи, с чайником в руке, Виктор не наливал.

— Садись, — сказала она.

Чайник встал на плиту: глухой стук дна по чугуну. От кольца пошёл запах горелой пыли, а поверх него — вчерашняя заварка, кислая, из непромытого носика. Стул пошёл вперёд, ножкой по глиняной полосе, оставшейся с вечера.

Клапан был только заложен внутрь, и всё равно пальцы его не нашли сразу: ноготь скользнул по кромке, завернул её, и под ней открылась сложенная вчетверо тетрадная страница в клетку, с прижатым посередине чем-то плотным.

Страница развернулась.

Почерк шёл крупно, с нажимом, и к середине строки заваливался вниз — так пишут, когда локоть не помещается на столешнице и приходится держать руку на весу.

Лидия положила лист на клеёнку между ними, развернула надписью к брату.

— Читай ты.

— Ты нашла.

— Читай ты, — повторила она и убрала руки под стол.

Губы его начали двигаться раньше голоса.

«Дети мои, Лида и Витя.

Если вы это читаете, значит, я уже не могу вмешаться, а вы уже сели делить дом. Я этого боялась больше, чем больницы.

Витя. Про тебя первое, потому что ты это заслужил первым. Ты пять лет держал этот дом руками. Крыша, водосток, дрова, колонка, обои у печной стены, которые я сама отрывала ногтем, когда скучно. Если бы тебя не было, я бы тут не дожила до зимы девятнадцатого. Не потому что холодно, а потому что я бы одна на эту лестницу полезла и упала. Я знаю, сколько раз ты приезжал после смены и не говорил мне, что после смены. Я видела по рукам.»

Голос остановился.

Жилка у воротника шла часто. Под кадыком поднималось и не поднималось — то же, что вчера.

— Дальше, — сказала Лидия.

«Лида. Деньги твои шли с третьего по пятое число пять лет. Шестьдесят раз подряд, и ни разу я не напоминала дважды. Я не говорила тебе спасибо как следует, я говорила "выручила", и это не то слово, но другого у меня по телефону не находилось.»

Клеёнка под её локтем нагрелась. Ладонь ушла на колено, на шерсть, где с вечера держалось светлое пятно от терминального шрифта.

«А теперь то, за что меня судите.

Я просила тебя молчать не для того, чтобы ты была у меня главная. Я просила, потому что мне надо было, чтобы Витя мог сказать "мать, денег нет", а я бы кивнула. Если бы он знал, что деньги есть, он бы перестал приезжать с деньгами. Он бы сел и посчитал, и вышло бы, что он мне не нужен. А он мне был нужен каждое воскресенье, живой, в сенях, с ведром. Я сыну это место берегла. Я его купила твоими переводами, Лида. Теперь говори, что я тебя обманула, я не спорю.»

Бумага легла на стол. Виктор не доложил её — отпустил, и лист поехал по клеёнке, остановившись у сахарницы.

Мокрый лист за окном отлепился от рамы и пошёл вниз, скребя по стеклу всеми жилками.

— Она меня держала, — сказал он.

— Витя.

— Она меня держала здесь. На пустом месте. — Ладонь прошла по лицу вверх, со лба в волосы, и остановилась на затылке. — Я котёл два года считал. Я зимой девятнадцатого в сенях шланг отпаривал и считал месяцы по костяшкам: дотянуть до весны, а весной кредит и нормальный котёл. Я в банке сидел, Лида. Я справку брал.

Кран капнул — один раз. Воду вчера спустили не до конца.

Лист пришёл к ней под руку, перевернулся. Под текстом оставалось полстраницы, и там почерк шёл ещё ниже, уже без линейки клетки.

— Тут есть ещё.

— Читай.

«И последнее, и это самое плохое.

Витя, дачу я продала в семнадцатом, в июне. Ту, бабкину, в Семёновке, с двумя сливами. Я тебе сказала, что она ушла за долги по участку, и ты поверил, потому что я при тебе плакала. Она ушла за двести сорок тысяч.

Из них сто восемьдесят с лишним я отдала за ремонт этого дома — там в ведомости всё до рубля, я не считала, я платила сколько скажут. Не тебе, а мимо тебя. Фундамент снизу, под спальней, — это не ты. Это мужики из Калиновки, в августе, при тебе на смене. Венец под той же стеной — тоже они. Шифер твой, обои твои, водосток твой, а то, на чём это всё стоит, — моё, и я тебе про это не сказала, потому что ты бы спросил, почему я тебя не позвала. А я тебя не позвала, потому что ты бы полез сам и за три выходных надорвался.»

Стул не скрипнул. Человек на нём сидел прямо, и обе руки лежали на столешнице раскрытыми вверх, пустыми, с сажей в сгибах.

Потом правая сжалась и разжалась. Один раз.

— Август семнадцатого, — сказал он.

— Да.

— Я в августе семнадцатого две недели в Загорье был, на объекте. Приехал — у меня в спальне половицы новые по краю. Спросил. Она сказала: Витя, это ты в июне подбивал, ты забыл.

В подполе под их ногами пересыпалось сухое — песок или мышь.

— И я забыл. — Голова повернулась к печной стене, к той, от которой тянуло. — Я себе поверил, что я забыл. Три года держу в руках, что этот дом стоит на мне, и я этим... — Слово застряло. — Я это женой мерил. Я Тане говорил: мы в целый дом поедем, я его сам довёл.

Лидия положила руку рядом с его рукой, не на неё.

— Ты и довёл.

— Половину.

— Витя, у меня хуже, — сказала она.

Пальцы у него дёрнулись рядом с её ладонью.

— Я вчера считала и выходило, что она от тебя прятала мои деньги потому, что я ей была ближе. Вот тут сидела, на этом табурете. — Голос пошёл ровно, тем самым ровным, которым он шёл у неё к концу квартала, когда сходилось. — А она их прятала, чтобы тебе было куда ездить. Я была у неё касса, Витя. Удобная. Безболезненная. Триста километров, тысяча девятьсот в месяц и ни одного ночного дежурства. Пять лет у меня это называлось помощью, а я у неё покупала право не приезжать. И она мне это продавала.

Стекло в материнской чашке на подоконнике задрожало: по Садовой пошёл грузовик. Дрожь прошла через клеёнку в локти обоим.

— Она нас обоих, — сказал Виктор.

— Обоих.

— Я от этой бумажки другого ждал.

— Я тоже.

Между ними на клеёнке лежал тетрадный лист, косо, и из-под сгиба торчало то плотное, что прощупывалось вчера через конверт.

Двумя пальцами, за самый угол, Виктор вытянул это наружу.

Сложенный втрое договор, машинописный, с печатью и двумя подписями; к нему скрепкой приколот чек из обменного окошка и ещё один листок, мелкий, в клеточку, с колонкой цифр и фамилией «Мирошниченко» сверху. Скрепка вышла из бумаги с мелким железным хрустом и осталась у него между ногтями.

Бумаги легли под лампу и развернулись сами, по старым складкам.

Двести сорок тысяч стояли прописью и цифрами.

Колонка под фамилией Мирошниченко шла короткая: шесть позиций, последняя подчёркнута дважды.

Сто восемьдесят две тысячи шестьсот.

Остальное место на листке было пустым, и в этой пустоте лежала только одна строчка, дописанная тем же карандашом, которым на связках стояло «декабрь»:

«остаток — туда же, где первый».

Лидия прочитала строчку сверху, через его плечо, с перевёрнутой стороны, и прочитала правильно с первого раза.

Пальцы у неё сошлись на подоле. Ситец собрался в жёст-

кий жгут, подшивка впилась в сустав.

Двести сорок минус сто восемьдесят две шестьсот.

Пятьдесят семь четыреста.

Счёт у Виктора шёл медленнее и вслух, с остановкой на разряде.

— Пятьдесят семь тысяч четыреста, — сказал он и поднял голову. — Это куда?

Сказать было нечего такого, что заняло бы хоть три секунды.

— Она же тут всё расписала. — Квитанции остались нетронутыми; рука легла на письмо, перевернула, обратная сторона оказалась чистой, с просветом клетки на свет лампы. — Тут про дачу есть. Про ремонт есть. Тут даже про то, как она меня держала, есть. А пятьдесят семь нету.

— Витя.

— Нет, подожди. — Указательный палец встал на подчёркнутую строчку, ноготь с въевшейся по кромке краской, которую не брал ни один растворитель. — «Где первый». Какой первый, Лида?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.